

ЛИДИЯ СЫЧЁВА



НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

РАССКАЗЫ

Три власти

Ветреный, сизый вечер. Осень, стынь. И всюду — свинцовый цвет: в низко надушенном небе, брусчатке Красной площади, решётках Александровского сада, в шинелях ладных и вежливых военных, что проверяют документы у Троицких ворот.

Сергей спрятал паспорт во внутренний карман пиджака, и не спеша — время у него было — зашагал по мосту, ведущему в Кремль. Он остро досадовал на себя, на свою неловкость, непривычность к подобным процедурам — был он, кажется, слишком суетлив, когда подавал документ и приглашение в конверте, напечатанное на отличной, очень плотной бумаге цвета топлёного молока: “Уважаемый... Имеем честь... Будем рады видеть Вас на приёме... Сбор гостей...” Впрочем, другие приглашённые, как он заметил, тоже чуть волновались, нервничали. Сердце его билось радостно, беспокойно — будто в ожидании чуда, которое обязательно должно с ним сегодня произойти.

Сумерки быстро сгущались. Он миновал куб из стекла и бетона — здание Дворца съездов — и, повинаясь интуиции (спросить не у кого, другие гости давно его обогнали, да и стыдно было бы признать себя здесь нович-

СЫЧЁВА Лидия Андреевна публицист и прозаик. Окончила Литературный институт имени Горького. С 1998 года — главный редактор журнала “МОЛОКО”, который основала вместе с однокурсниками Литинститута. В 1995-2002 гг. работала корреспондентом, редактором отдела школ “Учительской газеты”, участвовала в освещении второй чеченской кампании. Автор нескольких книг. Лауреат премий имени Дельвига, “Умное сердце”, премии “Зодчий” им. Дм. Кедрина (за общественную деятельность в литературе).

ком), повернул направо. Дул резкий, пронизывающий ветер, было зябко, словно ранним утром, когда из тёплого дома выходишь на неприветливую улицу. Тьму пространства разрезали толстые, мощные лучи прожекторов. Свет падал мягкий, тепло-золотистый. Ноги сами вели его в нужном направлении — и Сергей вдруг узнал, угадал Соборную площадь, столько раз виденную им в учебниках истории, в документальной хронике и даже в кино.

Он оказался один, совершенно один на этом небольшом квадратике кремлёвской земли, стеснённой древними соборами, где, как он помнил, покоились древние государи земли русской.

Ветер внезапно стих, контуры храмов тёмными громадами вырисовывались в небе, и что-то таинственное, древнее, грозное, много больше, чем человеческая жизнь, неожиданно явилось перед ним.

Сергей ошеломлённо сделал несколько шагов и, наконец, застыл в центре площади. И вдруг он со страхом, а после с ликованием услышал, как бьётся сердце великой страны. Он мог поклясться — эти глухие, размеренно-тяжёлые удары, кажется, доносились из тьмы веков; они были могуче-основательными, глубинными, но (он повёл плечами — так жутко ему стало) иногда будто замирали, пропадали, и всё равно услышанные тоны казались величественными, прекрасными. Глаза его мгновенно стали влажными.

Он был, конечно, взвинчен, взволнован, восприятие его было слишком нервным, острым. “Боже мой, — вихрем пронеслось у него в голове, — неужели, ощутив то, что сейчас почувствовал он, можно чего-то бояться?!” В смысле — бояться умереть, пострадать за это великое сердце, чтобы оно билось дальше и дальше, всегда?!

Ему казалось, что он мчится на лыжах с огромной горы, и душа его трепещет — он должен сейчас разбиться, погибнуть, но он всё летел и летел... “Так вот, — успевал он думать, — неужели, почувствовав свою призванность владеть и властвовать, можно ещё чего-то хотеть?!” Смешными в этот миг — вроде детских игрушек — казались ему мирские сокровища: дворцы, яхты, счета в банках, экзотические острова... Все они будто лежали у его ног, а он предпочёл им вечность... Он вдруг почувствовал себя Иваном Грозным, Македонским, Цезарем, и ему казалось, что это он правил настоящим, прошлым и будущим разноплеменной империи.

Перед тем, как пройти в зал приёма, нужно было зарегистрироваться у симпатичных молодых людей (они называли номер столика, Сергею достался 21-й), и этот церемониал собрал даже небольшую очередь — человек в 10–15. От резкого запаха стойких духов, от чужих обострённых энергий, которыми, казалось, была переполнена атмосфера просторного и роскошного помещения, у него закружилась голова. Сергей старался, чтобы взгляд его не был пристальным, он чувствовал в себе особую собранность, ясность и чёткость в движениях, которая когда-то появлялась у него перед горнолыжными соревнованиями (теперь он забросил спорт — жаль, конечно). Он пытался смотреть мягко, вести себя раскованно, естественно, но был напряжён и видел то, на что в обычные дни совсем не обращал внимания.

Были здесь дамы после сорока, одетые по-женски, но с такими закаменевшими лицами, что он понял — множество государственных или деловых обязанностей давно поглотили их пол, и они даже не подозревают о радостях физической любви; были богачи, миллионеры (или даже миллиардеры), они вели себя как всегда, их “статус” выдавали не бриллиантовые запонки, а многолетняя привычка к дорогой одежде и “светскость”, с которой они вели беседы с себе подобными; были растерянные новички со свежими, как правило, плохими причёсками, в неуклюжих нарядах; были чиновники — “кувшинные рыльца” — от сидячей работы у них сильно обвисала та часть тела, откуда растут ноги. “Странно, что таких физических явлений не наблюдается, допустим, у водителей автобусов”, — подумал Сергей. Были здесь и иностранцы — с авангардизмом в одежде и чувством глубокой растерянности и непонимания на лицах, они фотографировали интерьеры на мобильные телефоны, и никто их не останавливал, не мешал им.

Сергей мучительно узнавал лица, что когда-то видел по телевизору (образы — экранный и реальный — сильно различались). На приём пригласили и трёх его коллег — учёных-физиков, но это были “мэтры”, светила, к которым он никогда бы не решился подойти. Они смотрели на происходящее без всякого ликования, скорее устало, будто пришли не в Кремль, а на очередное заседание кафедры, и это удивляло, ранило Сергея.

Наконец, всех пригласили в Георгиевский зал. Высоко, на балконе, оркестр играл классическую музыку, сияла позолота, официанты в белых перчатках скромно стояли у стены. Стол Сергея был почти рядом с “президиумом”, но вместо Первого лица приём открыл малоизвестный человек из администрации, с некрасивым телом, которое не скрывал дорогой костюм, с ассиметричным, неприятным лицом. Он говорил в микрофон простые, обыденные слова, явно стараясь понравиться собравшимся, и его речь усиливала акустика сводчатого потолка (новички всё озирались вокруг, созерцая кремлёвское великолепие). Сергей внимательно вслушивался в “послание”: может быть, вещал человек, облечённый властью, жить следует для того, чтобы однажды оказаться в этом зале... Слова перевирали, переворачивали вверх тормашками то чувство, которое Сергей испытал на Соборной площади, и ему стало остро-больно. “Не так, не так!” — упрямо шевелил он губами.

Бело-золотой зал, белые скатерти, белая посуда, белые стулья. И — сияние хрустали в огромных люстрах, в резных бокалах. За столом — они постепенно все познакомилась — оказались несколько сотрудников МИДа (это были обычные протокольные люди с брюшками. “Может быть, в юности за рубеж их звала не романтика дальних странствий, а возможность купить вне очереди шкаф или машину”, — думал Сергей. Были и “простые смертные” — молодой наивный парень, лауреат конкурса “Учитель года”; пожилой сельский врач, тоже с заслугами; скромная, с узкими плечами девушка-виолончелистка, стипендиатка фонда “Надежды России”. Были и две немки, кажется, бизнесменши. Одна из них постоянно улыбалась, похоже, она не прочь была завести знакомство с загадочными русскими, другая — задорная, лохматая, напоминала ласкового мопсика. Они не знали языка, но МИДовцы перевели: дамы предложили, когда наступила их очередь произносить тост, выпить “за этот великолепный зал”. Официанты подливали вино в бокалы (крепких напитков не подавали). “Прекрасное “Бордо”!” — несколько раз повторил, качая головой, один из дипломатов. “Учитель года”, родом, кажется, из Вязников, листал меню (на двух языках, несколько страниц кремовой бумаги наподобие грамотки было скреплено витой золотой веревочкой) и тихонько ахал: “Камчатские крабы с муссом из авокадо... Филе бранзины с овощным ризотто в соусе “шампань”...” Сергею, несмотря на “прекрасное “Бордо”, стало грустно. Он почти ничего не пил, не ел.

Потом был концерт. На небольших подмостках пела крупная женщина, сильно декольтированная, у неё были густые и пышные чёрные волосы, на ослепительно-белых её ключицах — таких нежных и сильных — замечательно блистали тёмно-коричневые камни колье, и платье тоже было насыщенного, тёмно-коричневого цвета. У неё был партнёр, учтивый пожилой баритон с круглым и мягким голосом, и когда он пел, то чувствовалось, что он знает все возможности своего “инструмента”: голос его слушался, и казалось, что солист управляет знакомой, хорошо объезженной лошадью, и давно уже не ждёт от неё никаких неожиданностей.

Холёный конференсье, скрывающий за безупрчными манерами лёгкое пренебрежение к собравшимся, объявил очередной номер. Женщина в декольте осталась одна. И с первых звуков знакомого, многократно слышанного романса время будто замедлилось, стало глубже, и с каждым новым словом поток иного мира, иной жизни всё сильнее захватывал Сергея. Он вдруг забыл, где он, что он... Он слышал только историю любви, которую рассказывала ему певица, и чуть не заплакал от переживаемого потрясения — в её голосе была большая и трагическая власть, и странно было чувствовать эту

волю и силу от обычной, в общем-то, женщины. В сознании его мелькнула Соборная площадь. “Как же так, — мысленно удивился он, — за певицей не было ни тысячеклетной Руси, ни космических войск, ни глухих закоулков сумрачной страны с полуразрушенными избами...” Был только её дар, её голос — голос простой смертной женщины, но в эти минуты он готов был стать перед ней на колени. Он не мог оторвать от неё глаз — на певицу хотелось смотреть и смотреть, слушать и слушать, пить это божественный голос, в котором тонуло его сердце. Он подумал: “Неужели где-то есть мор, голод, болезни, несчастья, смерть, безденежье?” Только красота, чистота, только эта райская музыка напоминала о том, что есть на свете страдание, но и страдание было неземным, возвышенным — женщина пела об угасающей неразделённой любви. Она пела... Неужели это что-то изменило в мире, что-то качнуло, сдвинуло в душах людей?!

Под впечатлением музыки он быстро и нервно шагал по Троицкому мосту; власть трагического и покоряющего искусства захватила его совершенно, целиком.

Он вошёл в подземный переход, ведущий к метро. Пахло спёртым, несвежим воздухом, и он внутренне сжался, закаменел, предчувствуя встречу с обиденной и горькой жизнью: нищими старухами, что, трясясь от болезни и старости, будут просить сейчас деньги на жизнь, калеками, которые, шокируя жуткими увечьями, собирают средства на протезы, бомжами, выглядывающими из-за тёмных киосков, как существа иного, потустороннего мира...

Но в переходе было пустынно, малоллюдно, и только лысый музыкант играл на скрипке “Полонез Огинского”; играл привычно, “заезженно”, одной техникой, думая, наверное, о чём-то другом, а не о “прощании с родиной”. Сергей поспешил мимо, чтобы не растерять своего настроения, как вдруг заметил мальчика, может быть, лет пятнадцати, который чуть в стороне потрясённо слушал скрипача.

Это был обыкновенный, русский подросток с простым, румяным лицом. Глаза его блестели, рот полуткрылся в удивлении. Вся гамма чувств — от высокой печали до возвышенной радости — тенью пробежала по его лицу, в руках мальчишка судорожно мям чёрную вязаную шапочку, которую стащил с головы. “Как в храме”, — подумал Сергей.

И вдруг он понял, угадал, что мальчик впервые в жизни слышит эту музыку, и ему стало нестерпимо жаль эту обворованную душу; а потом он остро позавидовал его радости, его потрясению и благодарно взглянул на скрипача.

После чопорно-богатого, сияющего позолотой зала приёмов метро и люди в нём казались Сергею припорошёнными угольной пылью. Все они были одеты будто в робы — в чёрные, большей частью, одежды, лица их выделены определёнными и грубыми, наполненными внутренним отчаянием. В глаза бросилась застарелая вагонная грязь, а реклама вдруг поразила запредельным убожеством и крикливостью. Он с удивлением, по-новому взглянул на картинки, где улыбающиеся девицы предлагали майонез, толстяки в очках — кредиты, семейка с оскаленными зубами — бульонные кубики. Ему стало страшно — все эти рекламные образы хотели разорвать его, засосать внутрь своих торговых сетей, использовать и выбросить. Сергей зябко повёл плечами. Он с сожалением оглянулся вокруг: нет, никто из пассажиров не замечал опасности! Народ устало дремал или читал лживые газеты или некрасивые, дешёвые книги. Вагон чуть покачивался, гремел, стучал... И вдруг он увидел, узнал, сначала радостно, потом разочарованно, а после уже восхищённо — женщину, которая только что пела в Кремле.

Она ничем не выделялась среди обитателей метро — джинсы, короткая чёрная куртка с капюшоном. Он смотрел на неё и не мог оторвать взгляда: она была не роковая красавица, а почти дурнушка, с круглым, простым лицом; но он-то знал её власть и силу, знал её право покорять — с первых звуков, с первых тактов; и теперь он был сражён её будним преображением, но оттого она стала ему ещё дороже, родней. Она принадлежала этим

людям, “припорошённым пылью”, этому грязному вагону, залепленному уродливой рекламой, и было в этом что-то трогательно-возвышенное, настоящее. Рядом с ней стоял пожилой баритон, её партнёр, они говорили, и по выражению их лиц Сергей понял, догадался, что они не только хорошо понимали друг друга, они любили. Они вышли на следующей остановке, что-то негромко обсуждая, и двинулись рядом, близко, и в этом было много тайного и радостного.

...Да, была ещё одна власть — власть любви (наутро он думал об этом), и вдруг он понял, что она, любовь обыденная, мирская, для него ничего не значит по сравнению с той глубинной властью, которую он ощутил вчера. В России возможно только самодержавие, он почувствовал это явно, сильно и знал, что если бы ему принадлежала такая власть, он не отдал бы её никогда, никому.

Сергей вышел на улицу. День было пронзительно-солнечный, и после холодной ночи ярко голубело небо, по чёрным тротуарам тут и там лежали огромные кленовые листья, оранжевые, жаркие. Природа словно на время отодвинула громаду города, и главным сегодня было это слепящее солнце, эти огромные, будто надутые изнутри кучевые облака, удивительно белые, эти стойкие стройные клёны, трепещущие в предчувствии неизбежной зимы.

Потом он быстро шёл, потом почти бежал — легко, не чуя под собой ног — на свидание, потом он любил и целовал женщину, которой давно, страстно и мучительно желал; и после, когда они шли рядом, сидели в кафе, когда говорили и не могли наговориться и когда он с радостью и приятностью снова и снова смотрел в её глаза и слушал её признания, он вдруг подумал, что все царства мира, все венцы кесарей он бы сейчас отдал за то, чтобы никогда, ни на минуту не разлучаться с ней. Он, волнуясь, высказал это ей вслух, а она улыбалась, качала головой, гладила его по руке, и говорила, что не верит...

Вера Могучая

...Мы с детьми подходили к дому ночью, стремительно наступавшей, и давно — уж и не вспомнить, когда — я не видела таких больших и ярких звёзд, как будто это были не звёзды, а глаза неведомых зверей, живущих во Вселенной; звери эти были добрые, мирные и далёкие.

— Смотри, — говорили мне звёзды, — как прекрасен мир, какая тёплая синяя ночь вокруг, и по ней плывёт лодочка растущей луны, а на дне моря — силуэты цветущих вишен (май только начинался), а на подходе — и черёмуха, и яблони, и груши...

— Смотри, — говорили мне звери, — вы сыты, обуты. У вас есть дома, машины, у вас есть день и ночь, росистое утро, зовущий вечер, почему же вы не можете устроить свою короткую жизнь так же красиво, как мы устроили для вас мир? Зачем вы обижаете друг друга? Копите лишнее богатство, увлекаетесь глупостями? И не видите главного, ради чего вас сюда ненадолго позвали?..

Мы ехали на медленном, старом и потому осторожном автобусе, крутые подъёмы давались ему тяжело, двигатель натужно гудел.

Всё для меня было как в первый раз — и это небо, и это дерево, и трава, и первые звёзды, и путь, и дрожащие огни печальных деревень...

Мы остановились там, где узкая боковая дорога подходила к трассе, и в этом “рукаве” стоял старый “Жигулёнок”. Из машины вышли отец и мать — встречали кого-то из нашего автобуса (кого именно — сына или дочь — я не увидела). Я смотрела на отца, высокого, поджарого, в спортивных штанах и клетчатой рубашке; голова его была седа, руки — большие, изработанные. Следом, отстав, медленно шла мать — в мягких чулках, тёплых носках, байковом халате; фигура её была тяжеловатой, чуть оплывшей. Наверное, уже и гипертония у неё есть, и другие болячки... Дома она, конечно, всего настряпала, и как же, наверное, счастлив будет гость, когда

увидит эти хлопоты, когда вернётся в милый быт — такой привычно-неизменный, с родными запахами маминых пирожков, с кустом смородины у крыльца и путающимся под ногами котом (ластится, знает, что ради праздника обязательно перепадёт ему что-то редкостно вкусненькое!).

Дом! Какое же это счастье!.. Оно — как вода и воздух, как солнце и сон, как любовь и ласка. Настоящая любовь никогда не разрушит дом, никогда ни у кого ничего не отнимет...

Тополь у дома, кажется, что зацветает — тело его бело-серебристое, и набухающие почки — бело-серебристые. Сказочное дерево! Я смотрю на него, и люблюсь его зрелостью, основательностью, устойчивостью. Царь-дерево!..

Но что же я замечаю вдруг? Поодаль, через несколько метров, через дорогу, там, в дебрях терновника, поднялось и окрепло ещё одно дерево — тоже тополь. Молодой, выросший незаметно. Дерево по росту почти достигло родителя, но, конечно, оно не такое мощное и серьёзное. Тянется вверх, ветви его не так густы, ствол — не так строен. Но ведь это — то же самое дерево!.. Корень могучего тополя, пущенный вбок, только и мог спрятаться в терновнике, там сохраниться, пробиться, и вот теперь расцвести и явить себя.

Молодой тополь будто чуть стесняется, что вырос тайно, что не так строен и основателен. Но тело его — такое же белокожее, как у родителя, с лёгким оттенком изумрудности. Молодой тополь чуть склоняется в сторону старого — строго говоря, он и не дерево вовсе, а ветка серебристого тополя, пробившаяся через тернии к свету.

Большое дерево питало малое, стоящее поодаль, и вот уже малое превратилось в дерево взрослое, вроде бы даже “отдельное”, вроде бы даже выросшее — на посторонний взгляд — само собой.

Этой весной ветви старого и молодого дерева соединились, образовав арку. Летом, когда серебристая листва окутает кроны, как красив будет этот удивительный, волшебный, триумфальный свод нашей любви!

Мы — одно целое, одно дерево. Ты и я.

В густых ветвях старого тополя жили птицы. Мне они казались райскими (может быть, это были обыкновенные сойки, не знаю). Но так плавно они кружили в небе, так проворно исчезали в кроне, так красивы были их распущенные веером хвосты, что, наверное, это всё-таки были волшебные птицы.

Яблонька цветёт так ясно, так яростно, будто это последний день её жизни. Вот так и мне хочется рассказать о своей любви: ликующе-безнадёжно! Да, чтобы я не сказала, мне не повторить застенчивого, сладкого и чистого аромата этих цветов, синь ещё холодного неба, ясные, прямые, неиссякаемые лучи солнца, от которых вспыхнули на земле золотые жаркие одуванчики. “И на этой, на земле огромной, счастлив тем, что я дышал и жил”. Я знала эти строки наизусть с отрочества, но всё равно переписывала их в заветную тетрадку — чтобы они всегда были у сердца. Мне казалось, так будет верней — стихи никто и никогда не сможет у меня отнять.

Цветущий сад всегда прав. Красота, как цветущий сад, всегда права.

— А что бы ты делала, если бы узнала, что тебе жить осталось полгода?

Дети наши насмотрелись страшного иностранного кино (про “нравственный выбор”), взволнованны.

— Ну, я бы всем рассказала, что, мол, всё, жить осталось полгода.

— А потом?

— Жила бы точно так, как сейчас, — смеюсь я.

Проснулась утром, и первая мысль: как же люди живут без любви? Думаю: надо обсудить с тобой. И тут же расхохоталась: так я же сама без неё жила! Правда, я всё время искала любви. И готова была найти её в самом ничтожном предмете. И Бог, видя мою беспомощность, смиловился.

Каждый человек, я верю, несёт громадный заряд готовности любить. Почему же это чувство даётся только единицам? К чему эта награда обязывает? (Страшно и подумать!) Или царский дар — без отдачи?!

Ой, не знаю...

И в том, как фырчит ёж у тропы, как цветет вишня и летит стриж, как растёт чеснок на грядке, как охорашивается малинник, одевая голые ветки густой листвой, как просыпается виноградная лоза у ограды — нет, не погибла она в окаянную, с оттепелями и морозами, зиму! — как застенчиво серебрится ландыш среди плотных тёмно-зелёных листьев-ладоней... Так вот, во всём этом — моя любовь к тебе, моя неповторимая радость, невысказанная от того, что передать её невозможно.

— Кто вы? — восхищённо выдохнул продавец рыбы. — Можете и не брать ничего, с вами и поговорить счастье! Приходите почаще, прошу вас!

— Ну уж! — остужаю его пыл. — Кто? Гражданка РФ, электорат. Налогооблагаемая база. Давайте мне без лишних восторгов три честных хвоста подешевле. Хек серебристый, например. Давно уж пора ему приплыть в хорошие руки.

Я всегда в хорошем настроении, когда я с тобой, пусть даже только мысленно — но с тобой.

Уходя с рынка, поправила продавца:

— Не “кто вы?”, а “чья вы?” — правильный вопрос.

...Серебристый хек был приготовлен на славу. Пообедали неспешно, с аппетитом и тщанием, тут и пошли родительские воспоминания:

— Раньше, бывало, камсы привезут, очередь страшная в магазине, всем охота попробовать.

— По полкило в руки давали.

— Каждому ж охота рыбки съесть.

— А до войны у кого хлеб без макухи, те считались богатыми.

— 37-й год, 38-й, 39-й — у нас желуди добавляли в муку.

— А в колхозе на трудодень в Сталинградской области давали по килограмму зерна, а у нас — по двести грамм.

— Батяня рассказывал: пришёл агитатор партийный, стал в колхоз загонять. Федя Рябый размечтался: “А как мы мёд будем есть? Ложками, ложками!”

— Хе-хе.

— А теперь всё есть в магазинах!

— Да...

— Всё есть, а радости нету. Раньше идём с поля, уморенные, а песни как заведём!.. Откуда и силы брались?!..

Варю ли я борщ, сажаю ли огород, веду ли необязательные беседы, живу ли вынужденной жизнью, любовь моя всегда со мной. Но всё же самое сладостное в ней — когда мы рядом.

Дедушку с бабушкой, кота и кур, яблоню и сад, старый дом и новый забор я оставляю на наших детей — майские праздники они проведут здесь, на родной земле. Беспечные, они не понимают её ценности и силы.

Дети натягивают гамак между грушей и сливой. Здесь, в краю вечного крестьянского труда, они обустривают “европу”.

Я же возвращаюсь в большой и тяжёлый город, но на самом деле — к тебе.

В день отъезда я проснулась рано, и — высокое чувство захватило меня. Будто бы не надо никуда спешить, и что-то радостное, чудесное ожидает меня; может быть, плеск тёплой волны или поющий птицами лес, или пологая тропа на кручу, с которой я увижу мир до самых туманных горизонтов, в общем, это была заветная минута — наступившее ясное утро.

Я мысленно просигналила, что отдаю утро только тебе. Всю эту заполошную неделю я мало думала, потому что мешали заботы. А, в сущности, зачем они, если нет любви?! Без любви жизнь теряет краски, превращается в чёрно-белый, печальный и ненужный рисунок.

И я стала мечтать, как мы встретимся, как я буду говорить тебе эти слова, и голос мой будет сбиваться (от волнения), и как ты будешь улыбаться, и хмуриться — ты всегда строг к форме, всегда стремишься к совершенству; и радуешься, когда у меня получается хорошо, а за мои “сбои” переживаешь сильнее, чем за себя.

Если бы не наше с тобой чувство, то гигантские цунами накрыли бы землю, или пробудился бы вулкан и засыпал пеплом свет, или солнце послало нам убийственный огонь; в общем, это мы держим планету на плечах; без нас мир давно бы погиб, или — что точнее — мы бы погибли, если бы не встретили друг друга.

Нежность соединила нас. Это как цветущая черемуха или спящий ребёнок. Нежность! Мы заботливо “прикрывали” друг друга от грубости жизни. Тот, кто не знает нежности, не знает настоящей любви.

Я думала о тебе, а ты был в отъезде, по работе, там даже спутниковая связь не берёт. Но я-то знала: нежность — как первый снег, как ласка матери, как лепестки ромашки; я знала, ты меня хорошо слышишь, и мы ещё обнимем друг друга!..

Ах, как жаль, что раньше я была слишком послушна обстоятельствам, не дерзила им, исправно отдавая “должное” — работодателям, чужим людям, условностям; старалась “быть вполне хорошей” для всех — в ущерб нашей любви; как жаль, что раньше мне не хватало отваги быть собой. По праву рождения — точно так, как есть права у растущей травы, поющей птицы или звящего листьями могучего тополя.

Да, тот, кто познал любовь, всегда будет по ней тосковать и ни на что её не променяет!..

Возвращалась я на перекладных, на попутных машинах, и дорога эта была лёгкой и радостной.

Мы летели на шикарном авто по дну древнего моря.

Меловые горы — это донные отложения многомиллионнолетней давности. В наших местах решили открыть гранитный карьер. Могучие экскаваторы снимали сорок метров мела, и вот, почти добравшись до камня, рабочие ахнули, увидев чудо-юдо — огромного моллюска, окаменелость.

Но владелец будущего карьера не стал разводить “романтику”, а скомандовал:

— Ребята, дави его трактором! Иначе набегут учёные, начнут раскапывать, разносить, и — всё, конец бизнесу. А я деньги заплатил немалые, чтобы откупить участок.

И ребята стали утопить окаменелость скрепером. Уцелела только огромная часть стенки моллюска, больше метра длиной, и водитель Александр, с которым я сейчас ехала, спрятал находку в багажник (якобы “на память”), а на самом деле тайно отвёз осколок в Москву, в Палеонтологический музей.

И наука узнала, что в здешнем древнем море водились невиданные миру существа.

Любознательный Александр поведал мне эту историю, и я по-другому посмотрела вокруг. Чернозём — это высохшие древние “болота”, песчаные отмели — давние берега.

Земля жила, двигалась, ворочалась, вздымая пласты.

...Но по-настоящему я ощутила скорость и время, когда распрощалась с Александром и пересела на “семёрку” (“Жигули”).

— Десять лет машине, ни разу меня не подвела, тьфу-тьфу-тьфу, — хвалил водитель.

Мы летели, как на “Формуле-1”: мотор ревел, полотно мелькало под колёсами, трепетали флаги пирамидальных тополей, и только однажды нас обогнали, и то — с нарушением правил.

Через двести километров пути мы свернули на заправку. Здешние сотрудники носили униформу, на груди — таблички с именами. Уборщица, молодая пенсионерка, подметала асфальт у колонок. Увидев её имя, я оторопела:

— Извините... Вы — Вера Могучая?!

— Ой, да это моего чёрта фамилия! — зачастила она. — Мы с ним давно разошлись! Ничего с ним не нажила, кроме фамилии! Польстилась на имя. Буйный был, и поколачивал, и гонял, без руля и ветрил.

— Вера — человек славный. Невеста на выданье, — разъяснил её напарник, улыбочивый старик с метлой, с зелёным пластиковым совком на длинной ручке. — Я вот ей говорю: выходи за меня! Я — свободный, смирный. Будешь мне кашу варить, штаны стирать. А она: “Вот ещё! За Шпундикова не пойду!” Вишь, как своё звание бережёт!

— Всё вы сочиняете, Николай Ефимович, — зарделась Вера. — Люди неизвестно что подумают... Счастливого пути, доброй дороги вам!

Итак, сюда, в эти заповедные края, привозила я свою любовь! Здесь, на дне океана, она зародилась — я ещё не знала, что мы встретимся и будем счастливы, — так, как это пытаются показать в кино. Но ничего рассказать о любви не получается — наглядные искусства слишком грубы. Остаётся, впрочем, музыка, которая всегда звучит во мне, когда я думаю о тебе. Мелодия поющего света.

В день перед отъездом я стояла у дерева — тополя-родителя — и чуть стыдилась своей праздности. Вдали шагал сухощавый, жилистый мужик с рабочим чемоданчиком — в таких носят инструменты — дрели, например; он кивнул мне — я на него смотрела так пристально, что он принял меня за знакомую.

О чём я думала? Женщина даёт силу или отнимает её, женщина — это та же земля, территория; женщин берут или завоёвывают, покоряют; или — словно выходя на цветущий луг — прежде неведомый — присоединяют к себе, к своим владениям. Женщину воздвывают, как землю, и она — плодородит, озарённая светоносной энергией.

От радостного этого труда рождаются дети, стихи, картины, музыка, виноград, зерно; зреют плоды, поднимаются травы и цветы. “Боже, как я тебя люблю!” — говорит земля, и расцветает день, а ночью, при ярких и крупных звёздах, земля спит; спят её птицы и звери, цветы и деревья, отдыхает солнечный свет, и вырастает за ночь новый день, новая, бесконечная жизнь.

Так думала я, и обещала сказать тебе всё при встрече, сказать “спасибо” за эту утраченную и неразгаданную связь. Пройдут миллионы лет, в толще застывшей породы найдут окаменелости нынешних механизмов и машин, что-то уцелеет, сохранится для пытливых потомков. Станные, необъяснимые предметы из чужой и далёкой жизни.

А мы будем в звёздном мире, уже неразлучаемые; будем благословлять цветы и травы, птиц и зверей, ручьи и водопады; будем зажигать звёзды в небе; будем новыми царями нашей вселенной.

Так говорю я, женщина с земли, и, пожалуй, многие подумают: фантазия эта — возможна. Всё — в нас, и всё — вне нас.

Вот такую “телеграмму” — в век мгновенных сообщений и коротких чувств — я отправляю тебе. В ней сказано, конечно, не всё — главное останется между строк.

Новейшая история

Лил дождь. Весь вечер, всю ночь и весь следующий день. Что удивляться, если стояла осень. Октябрь 1995 года. Дождь — слёзы земли, это были освобождающие, горестные слёзы. По навсегда ушедшему и, наверное, умершему миру. Было что-то величественно-мощное в этом оплакивании. Тёмное, беспросветное небо. Громада областного театра — бетонного здания, влажно черневшего в ночи. Блеск трамвайных путей — они уходили в ночь и терялись там, будто вели в иную, искусственную реальность. Транспорт ходил плохо, и на остановке скопилось порядочно народу. В чёрном, коричневом и сером. Почти неразличимые лица людей. Пахло тёплым хлебом — рядом с остановкой была булочная, и многие вечером

после работы заходили в магазин. Работа ещё была, хотя за неё уже ничего не платили.

Что меня поразило — на остановке, в толпе, было несколько бомжей, опустившихся людей. Один из них лежал на скамейке. Другой, пьяный, качался возле мусорной урны. Третий, в фуфайке, в засаленных ватных штанах, заношенной шапке-ушанке, на ногах — нечто вроде онуч и грязнющие войлочные ботинки, лежал поодаль на небольшом асфальтовом возвышении. Дождь хлестал, а он закрывал лицо ладонью... Но эти бомжи не были изгоями среди мрачной, ждущей трамвая толпы. Никто над ними не смеялся, не плевал в них. Помню, старушка с характерным местным выговором объясняла кому-то, что вот, мол, человек притомился и лежит. У меня было смешанное чувство отвращения (к грязи, к пьянству, к безволию) и жалости. Да, в сущности, мы все были безродными бомжами в те годы. Родина была украдена, отнята безвозвратно. Кем? На этот вопрос и нынче ответить трудно (при всей его очевидности). Наверное, она была украдена чертями, бесами — если трактовать события метафизически.

Днем тоже шёл дождь, хотя и не такой сильный. Мы ездили по области (дороги оставляли желать лучшего) на “козле-уазике”, штурмуя размокшие колеи. Разговор шёл про школы, про власть, про деньги. Про то, что детям нечего есть. По пути встречались нищие, бедные селенья с заплаканными окнами домишек, с облупившейся голубой краской на ставнях, с могучими берёзами в палисадниках, с аккуратными поленницами дров — народ был готов к зиме... Нет, всё-таки родина ещё была жива, она пряталась за деревенскими занавесками в старых домах, набиралась сил в приземистых, дореволюционной постройки сельских школах, отдыхала, будто странница, у здешних погостов, тогда ещё не расцвеченных дорожниками помпезными памятниками бандитов, погибших в криминальных войнах.

Потом мы были в школе, где голодали учителя, требующие зарплату за несколько месяцев. Это были женщины, молодые и старые. Голод сделал их всех похожими друг на друга, страдающе-тихими. Учитель — значит, неудачник. Это было ясно уже тогда, потому что учитель пытался работать на будущее, то есть — в никуда. А надо было жить настоящим, хватать, жрать, вырывать куски у ближних, отрекаться от тех, кто составлял ещё вчера плоть и кровь родины... Да, это бесы вселились в тела многих и многих, помрачили сознание, сделали лживыми уста, ослепили, лишили слуха, парализовали волю. Ну что ж, надо было жить в условиях духовной оккупации. Это, конечно, легче, чем под немцами на Смоленщине. Там людей сжигали целыми сёлами, давили танками, изошрённо, садистски пытали, травили газами, детей увозили в Германию, чтобы их кровью питать солдат рейха.

Но у нас ничего такого не было. Травили всего лишь растлительным телевидением, детской кровью “омолаживали” не чужаков, а богачей и представителей власти, если и давили танками — то только в Чечне, если и пытали — то лишь в междоусобных войнах между “братками” и бизнесменами, если и жгли, то выборочно — интернаты, школы и дома престарелых, если и взрывали — то всего несколько многоэтажных домов... Люди на Смоленщине знали, кто их враг, верили, что помощь придёт, и воин Красной армии положит конец мучениям. Нам же не на кого было надеяться — родина была сдана вся. “Родина-мать зовёт” — плакат времён Великой Отечественной, с седой женщиной, со словами величественной музыки в душе: “Вставай, страна огромная...” — всё это было попрано, осмеяно. Матери нечем было гордиться и не на кого надеяться — её сыновья были пленены или рассеяны.

Реванш рогатых и хвостатых наступил. Спасала ли Церковь? Не знаю. Она учила смирению, а не бунту, вере, а не уму. Отовсюду звучали клише: “Какое общество, такая и армия... Какое общество, такая и тюрьма... такое и телевидение... такая и Церковь... такая и жизнь”. Церковь — не заповедник. Там тоже говорили, что богатство — не грех, а ответственность, и бабочка в мерседесе — не облазн, а почитание, и что молитва сильнее меча. А Бог говорил нам: настало трудное время, когда вы можете надеяться только на себя. На своё дело. На свою душу. На свою жизнь.

И прошло семь лет. Я снова приехала в этот город, где так тесно переплелись моя личная история и история родины. Личное было в том, что в прошлый приезд я горько плакала над увиденным — это было больше, чем жалость к бомжам или сочувствие к педагогам. (Хотя, может быть, было бы правильной сокрушаться о своей конкретной, весьма неустроенной, искорёженной и раздёрганной жизни, а не об абстрактной “родине”, — шепчет сейчас бесёнок.) Духовно не сотрудничать с оккупантами — вот в чём тогда виделся смысл. Беречь свою личную “автономию”, сидеть “в лесах”, в партизанах, внешне будучи на виду. И — по возможности не озлобиться. Сохранить память сердца. Бороться за истину, пусть даже на малюсенькой, крошечной площадке.

Иногда казалось, что это мне удаётся. И в те часы и дни пела душа, щедро благодарила природа. Помню, как я шла с вокзала в гостиницу “Советская”. Был январский вечер, мягкий, тихий и снежный. Я не стала ждать трамвая — на рельсах лежали снеговые шапки, и они уводили в сказочную даль, в которой — уж конечно — есть место чуду и былинному подвигу. Кажется, это был один из святочных вечеров, а в такое время — я заметила — особенно тепло и радостно сердцу. Но красота вокруг была словно дохристианская, языческая — огромными, пушистыми хлопьями падал снег — с неба летели белые растрёпанные курицы или гуси-лебеди — целая стая, а из-за ёлок, укутанных в пухово-снежные одеяла, выглядывали седебородые волхвы, и где-то вдали стучал своим посохом Мороз-воевода, а люди племени Берендеев сидели в белых-белых, украшенных резными снежинками избах, греясь у длинных горящих свечей, таких, как на картинах Константина Васильева. И мягкий, рассеянный свет от немногих фонарей, заключённых в дымчатые круглые плафоны, тоже был снежно-торжественным, и он манил, ублаживал, обещал счастье и радость; а на самом деле всё счастье жизни и умещается вот в такие миги, и хорошо, если за жизнь их наберётся несколько дней.

На следующий день была научная конференция, на которой выступали два приглашённых из-за рубежа высоких гостя — канадец и англичанин, оба рассказывали, что “Запад поможет России построить демократию”, что для этого выделены деньги и что образование в стране нужно перестраивать. Гости обещали гранты и поездки за рубеж, бесплатные научные пособия и технологии. Канадец агитировал экспрессивно (по методике протестантских пасторов), махал руками, улыбался в 32 отбелённых зуба, рассказывал притчи-анекдоты; англичанин был сухо-скучен и упирал на то, что “России следует вступить в цивилизованную семью народов”, для чего следует “хорошенько потрудиться”.

На улице от вчерашней красоты не осталось и следа — была плюсовая температура, на тротуарах снег превратился в серую жидкую грязь, сугробы оплыли и потемнели, деревья стояли влажные и мрачные. “Дикие мы, дикие. Так оставьте нас в покое, — в раздражении думала я. — Чего вы сюда лезете со своими миссиями?” Впрочем, им, наверное, было приятно ощущать себя богатыми и умными в сравнении с нами — бедными и больными. Разве они пришли сюда выкорчёвывать наших чертей? Нет, они пришли их потеснить, чтобы застолбить и для себя кусочек оккупационных земель.

Вечером — это было смешно и грустно — я наблюдала “цивилизационный проект” в действии. На первом этаже гостиницы, возле весьма скромного буфета, группа из трёх путан живописно восседала на зелёном сукне бильярдного стола. Особенно эффектна была гиппороногая дама в розовом парике “каре”. Она курила длинную сигарету, далеко отставляя наманикюренную руку, пускала струйки благоуханного дыма, презрительно шурясь; она сидела, выставив напоказ крепкие, полные, плотные ножки в чёрных колготках, где много выше колен были помещены широкие гиппоровые вставки. Пресловутые “ножки Буша” после у меня стойко ассоциировались именно с этим торговым телом.

Коллега её была здоровой бабой таких могучих статей и выправки, будто она служила в спецназе. На фоне этих двух выжиг несколько терялась третья — сравнительно молоденькая женщина в кожаной кепке, нутриевой длинной шубе, сапожках на низком каблучке.

Замотанная буфетчица уже распродала лежалые сосиски и теперь советовала посетителям брать яйца под майонезом. Кроме меня, в зале сидели только два мужика-работяги (семейные, в байковых рубашках и спортивных штанах), командированные, наладчики газового оборудования. Выпили водочки, закусили. На выходе один из них, тот, что побойчее, раскованно положил руку на плечо красотке в розовом парике:

— Гуляем, девочки?

Та презрительно передёрнула плечом, а её мощная коллега прогудела угрожающим басом:

— Только без рук.

Но видя, как неопытные кавалеры сразу сникли, стушевались, неуклюже-кокетливо добавила, моргнув коровьими, сильно накрашенными глазами:

— Купите лучше девочкам шоколадку...

Было что-то жалко-наивное в этой демонстративной попытке разврата — и со стороны начинающих “профессионалок”, и уж, тем более, со стороны семейных работяг. Люди искали новые “ниши” своего бытия, новый досуг, новые смыслы... Ты — человек, живёшь один раз, тебе всё разрешено, долой границы (всё равно у тебя нет родины, её границы открыты для турецкого текстиля, европейского просроченного продовольствия, грузинского синтетического спирта, американских пищевых добавок...). Это и есть твой “звёздный час” — немного разврата в казённом доме. Есть деньги — плати за любовь. Всё, как на Западе.

И прошло ещё семь лет. Ещё один круг жизни, ещё одно кольцо, ещё одно вращение светил... Может быть, действительно, в этом нет ничего случайного — что я опять здесь, в этом городе, и снова прислушиваюсь к своему сердцу. Может быть, и впрямь, есть на свете Бог, это Он меня сюда привёл (а не случайная “комбинация событий”), привёл, чтобы я что-то могла понять. Ну, например, что тактика “партизанских отрядов”, наверное, была лично для меня ошибочной. Что оккупацию уже не победишь. Что жить надо для себя, для “личного успеха”. Что души у человека нет или что она ничего не значит. Ведь и впрямь мир изменился фантастически. Общалась тут со своим товарищем Костей (он специалист по компьютерам), говорит, что весной у него образовалась целая очередь из машин — “железо” сходит с ума! Техника всё сложнее, всё тоньше, и она болезненно реагирует на погоду — почти как человек. А в мегаполисах давно уже правит бал электроника — везде камеры, датчики, чипы, мобильники, излучения, волны. Большой город равнодушен к своим жителям, он перемальвает их, как мясорубка — на фарш. Причём всех — и богатых, и бедных. Разница только в степени комфорта. К нему-то и стоит реально стремиться. А всё остальное — романтика прошлых веков.

Что ж, в чём-то он прав. Я и по себе вижу — сердце моё остывает. (А может, просто срабатывает инстинкт самосохранения?) Наступила весна, мир в предчувствии обновления, но... И когда лил дождь, оплакивая прежний мир, и когда шёл снег, напоминая о вечности красоты, всё это волновало меня необыкновенно. А теперь — да, умеренно солнечный день, “хорошая погода”, даже птички чего-то галдят. Но пусто и горько в душе.

А город отстроился, поселился. Особенно в центре. Новое здание Сбербанка, Пенсионного фонда, Налоговой инспекции. Магазины, опять же. Иномарки. Кафе с дворянскими именами — “Шереметьев”, например. Не зря семь лет жили — работали, трудились.

Голова гудит. Только что вышла из ледового дворца (тоже новодел), где проходил показательный молодёжный спортивный праздник. Старшеклассники, студенты вузов. Семьсот человек. Все в новой спортивной форме — разноцветные футболки, майки с надписью “N-ский университет”, яркие трусы, кимоно. Спонсор мероприятия — Инвестбанк. У многих парней в руках флаги правящей партии, и они должны ими размахивать по команде организаторов. Гремит музыка, ужасная акустика сводчатого потолка отражает звук, он мечется в замкнутом пространстве, и вместо “Единая Россия” получается “иди на оси на”... Потом уже получается просто “Иди на... Иди

на... Иди на...". После звучит песня "Дети солнца", и девчушки (лет по 8-9) с мученически улыбающимися лицами изображают "счастливое детство". Всё это похоже на "историческую реконструкцию" давних советских праздников, но карикатурную, механическую. Лица парней мертвы, когда они машут флагами и пытаются перекричать музыку заданными речёвками. Лица ничего не выражают, кроме покорности, того, что "так надо", так принято. Вспомнился советский Первомай — тоже вроде бы принудительный праздник, демонстрации, а всё же в его атмосфере было что-то живое, наивное и человеческое.

Наконец, под какофонию марша высокие гости, для кого и задумана показуха, покидают трибуну. Ди-джей меняет музыку — звучит нечто ритмически-рэповое, истерически-кричащее. И, о чудо! — как преображаются эти лица! Мёртвые, механически-покорные, они вдруг оживают, словно их разбудили голосом инстинкта, доисторического зова. Дети визжат, орут и прыгают — в озверении, в бесовстве. Так, наверное, древние люди отпугивали злых духов или заряжались энергией перед смертельно опасной охотой. Неолит — древний каменный век. Глаза расширены, челюсти отвисли. Древний человек вышел из Африки, не так ли? Туда же мы и вернёмся...

А здесь, на улице, у элитного колледжа, куда сейчас придет федеральный министр Алексашенко, тихо и пусто — милиция оцепила окрестности. Только пресса толпится у порога, да старушка деловито катит по тротуару самодельную тележку, в которой покоятся два мешка, набитых пустыми бутылками, а грязная тара, которая в мешки не вошла (тяжело же ей достались эти бутылки!), лежит на тележке россыпью. Старушка худая, костистая, привычно (не в первый раз) упирается, катит свой убогий транспорт.

— Серёга, сними бабушку, вот тебе и "Лики России", — иронично советует фотографу столичного журнала его коллега-корреспондент. "Лики России" — парадно-патриотическая рубрика, где можно увидеть фото крестных ходов с тучными батюшками, молодожёнов у дверей загса, сытых депутатов на охоте, членов правительства на лошадях или с любимыми собаками. В общем, все признаки державного возрождения.

Серёга вяло отмахивается.

А вот и министр — инфантильно-изнеженный, артистически-нелепый, изломанно-хрупкий. В его бледном лице с глубокими голубыми тенями и синопными губами есть что-то из иного, вампирско-загробного мира. Нежить — особый разряд духов. "Это не пришельцы с того света, не мертвецы, не привидения и не чертовщина, и не дьявол, нежить не живёт и не умирает", — лучше Даля не скажешь.

Нежить садится в президиум, складывает руки, похожие на перепончатые лапки гигантской летучей мыши. Слабая равнодушная улыбка гуляет по синим губам. Нежить благосклонно кивает залу.

И начинается *аллилуйя*... "Ваши пять лет правления стали самыми плодотворными, самыми успешными в отрасли", — это ластится местный чиновник Кузьмичёв, похожий на гигантское дрессированное насекомое. "Если бы ту критику, которую обратили против вас, направить на созидание, мы бы давно совершили мировой прорыв", — а это подобострастная лесть кругленького Егорова, ректора N-ского университета. Он умильно-детского вида, такой добрый, безвольный, и всё пытается сказать умно, солидно, "на уровне", как это и полагается учёному, работнику высшей школы. "Вот интересно, — думала я, — неужели у этих проститутов есть семья?" И была ли семья у гейш из гостиницы "Советская", которых я там видела в свой прошлый приезд? Хотя... Сейчас так нетрадиционно устроена жизнь, что всё возможно...

Все в стране, включая Кузьмичёва и Егорова, отлично знают, что деяния нежити Алексашенко безумны и вредны. Но нас несёт поток селевой грязи, мы не можем остановиться, зацепиться за твёрдую почву, удержаться.

У нас теперь новый пантеон, новые боги. Главный из них — это Страх. Ему поклоняются все, от клерка в муниципалитете до первых лиц властного Олимпа. Страх проник в каждый дом, в каждую душу. Страх потерять работу, деньги... Что ещё? Так больше ничего и не осталось. Дети развращены,

молодёжь — *потерянное поколение*. А те, кто сохранился, уцелел в “партизанских отрядах”, спас свои семьи — их мало. Электронный прогресс добьёт их. Потому что главное утрачено — родина и душа. Будущего нет, потому так и хочется держаться за щепку, за настоящее.

Ещё один бог — это Ложь. В форме лести, умолчания и просто вранья. Страх не может править без Лжи — это как Карл Маркс без Фридриха Энгельса.

Таково духовное развитие человечества — от примитивных духов до оккупационных кумиров — Страха и Лжи.

Но — довольно. Это всего лишь калейдоскоп жизни, в котором причудливо сложились три коротких временных отрезка, три “сильных впечатления”, три болезненных воспоминания. Почему-то они сложились — будто кадры хроники — в одну “ленту”. Я продолжаю, страшно сказать, дело самого летописца Нестора!.. Не впасть бы в гордыню. Да и в уныние тоже...

Была осень, зима, весна... Настанет и лето. Оно наступит, как всегда, внезапно. Лужайки, светлые берёзы, синие зеркала речушек (от синего неба) и пронзительно зелёная, мягкая, шелковистая, молодая трава. Мне кажется, что я вижу всё это сверху, что я чуть-чуть лечу над миром, неумело, как молодой птенец. Если бы я стала умирать, о чём бы я жалела? Вот о такой природной земле, а не об искусственной жизни, созданной человеком.

Было лето, и было воскресенье, и старый красный храм, потерявшийся среди огромных тополей, и душное, щедрое цветение трав, отчего испытываешь мгновенное и острое — до слёз — чувство благодарности жизни.

В храме девять маленьких ангелов ждали крещения. Молодые родители держали их на руках. Кудрявые и почти безволосые головёнки, маленькие ручки и ножки, наивные удивлённые глаза, лепет, гуление. Светлые, беззащитные дети.

А сверху, сквозь цветное витражное окно, смотрел на них всемогущий Христос. Родители верили, что силы небесные спасут и защитят их детей, когда они сами уже будут не в силах им помочь.

В храме было светло, надёжно и радостно. Ангелы безмятежно улыбались, а грешники на иконах торопливо попрятались за спины святых...